

## ПОРУГАННОЕ ЧУДО

*Занесло тебя, счастье, снегами,  
Отнесло на столетья назад,  
Затоптало тебя сапогами,  
Отступающих в вечность солдат.*

*Георгий Иванов.*

### 1.

Что понимать под восприятием вселенски-православным, еще так недавно присущим, бездумно и бессознательно, многим и многим миллионам россиян, самых различных племен и даже вероисповеданий?

Не разумеет ли под ним особое отношение к жизни, внушенное нам многовековым подвигом киевских и московских монастырей?

Вокруг церковных таинств и обрядов, повторяемых, свершаемых изо дня в день, из года в год, из века в век, вокруг богослужения в целом — прообраза небесного бытия, данного нам откровением, — вокруг песнопений, иконописных ликов — окон, отверстых в вечность, — вокруг ангельски-чистых линий монашеских одеяний, священнических риз и поднебесного звона колоколов, — благовеста преображенной материи, — образовался сияющий нимб, незримое телесным оком великое излучение, обнимавшее российские пространства, овладевавшее душами живущих и умерших. Этой нездешней глубиной и красотой преосуществлялся самый воздух, который мы все вдыхали, творилась атмосфера, в которой выросли не одни русские, родившиеся в православии и непосредственно связанные с его догматами, но и все россияне вообще, к какому бы племени они не принадлежали и какую бы веру не исповедовали.

Выпадали из этой атмосферы лишь люди, действительно враждебные всякой религии, или, что того хуже, равнодушные к ней, — своим атеизмом, как лезвием разбойного ножа, рассекавшие тайные нити, даже их в раннем возрасте соединявшие с таинством российской жизни. Из этих-то людей и выходили революционеры — убийцы по убеждению, нигилисты и народники антирелигиозного толка.

Одна лишь всеобъемлющая свобода православного мировосприятия и мирочувствия могла осуществить чудо под полярным кругом, чудо Российской Империи, в которой путем духовного обмена веществ роднились и сочетались, никогда не теряя себя, не нивелируясь, не стираясь, не смешиваясь, а, напротив того, творчески дифференцируясь, идейные начала и народности, казалось, дотоле непримиримо враждебные.

Эта личная и соборная внутренняя свобода весьма отличается от индивидуального и коллективного человеческого *своеволия*, столько раз провозглашавшегося со времен французской революции и теперь, наконец, насильственно навязанного жизни и узаконенного сторонниками эгалитарно-демократического прогресса. Революционное *своеволие*, обманно названное свободой, вначале, по выражению Пушкина, отвергает население «в хмельное беснование», а потом приводит его к нейтрализации каких бы то ни было духовных идей, неизменно объявляемых равноценными перед лицом суверенного народа. Единственной утверждаемой истиной остается право на безразличное и безличное смешение всего, право ни горячего, ни холодного нейтралитета.

Провозглашая высшие реальности несуществующими, или во всяком случае недействительными, внежизненными, эгалитарно-демократический прогресс подменяет их позитивными, реалистическими благами, дарует шаткие социальные права, призрачные привилегии, лишь формально понимаемой свободы безобразному подобию общества, лишенного твердых сословных граней, стройной религиозной иерархичности. Такие права и привилегии отвергаются творческой личностью, как отвергались они в 19-м и 20-м веке во Фран-

ции всеми лучшими французскими писателями, поэтами, художниками и мыслителями, например, Жозефом Деместром, Бальзаком, Стендалем, Флобером, Рембо, Гогеном, Леоном Блуа и еще многими другими. О таких правах, свободах и привилегиях в одном неоконченном стихотворении Пушкин говорит:

Все это, видеть ль, слова, слова, слова.

Иные, лучшие мне дороги права,

Иная, лучшая потребна мне свобода.

В потаенных келиях лесных монастырей впервые зародились у нас эти иные, лучшие права. Оттуда вышли они на простор старокиевских княжеств, смягчая, преображая души и сердца недавних приверженцев первобытного язычества. Из атмосферы вселенского православия, воспринятого древнекиевским миром, возникла у нас эта иная, лучшая свобода, временно ущемленная во дни московского разложения и заново расцветшая в Российской Империи по мановению Петра, основавшего Петербург и тем воскресившего Киев. В этих правах, в этой свободе, сами того не ведая, переплавлялись души, вырабатывались новые типы лиц, изменялся внешний, природный облик страны, нарождался ландшафт — печать, налагаемая на природу, на леса, поля, горы, творческой волею человека — дух побеждал безликую стихию, из племен выковывалась раса, создавалась российская Нация.

Чудом православия и трагедией имперского созидания осуществленная на русской земле высшая свобода, в преизбытке благодатных сил, вызвала к жизни святых и подвижников, мощных строителей государства, и, как бы играючи, породила своего выразителя, всеобъемлющего гения, поэтический прообраз первородного Адама, еще не знающего грехопадения, или, по определению Достоевского, — «наше все», а по выражению Тютчева — высоко вознесенный «божественный фиал», «первую любовь России» — поэзию Пушкина.

Пушкин сам в совершенстве сознавал свое объединяющее имперское значение и отметил его, как нечто особое,

ему одному среди других поэтов принадлежащее, как свою святую и, быть может, единственную заслугу перед народом. Пушкин ведал, что, как поэт, в полной мере, в полном объеме, он навсегда останется недоступным соотечественникам, что настоящая поэтическая слава суждена ему «доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит», что народу он будет лишь «любезен», и не поэтическими достоинствами, как таковыми, а свободолобием подлинного имперца, изумительным даром идейно соединять в своем творчестве суровое дело государственного строительства с христианским милосердием. И ведая это, он тем торжественнее утверждался в своей священной миссии объединителя, творческого фермента, волнующего сердца, преображающего души.

Избранные современники Пушкина отлично понимали его имперское значение. Еще в 1828 году Баратынский, сам великий поэт, писал ему из Москвы в село Михайловское: «Иди и довершай начатое, ты, в ком поселился гений. Возведи русскую поэзию на ту степень, на какую возвел Петр Великий русское государство. Соверши один, что он совершил один, а наше дело признательность и удивление».

Для Баратынского сливались воедино государственный труд Петра и поэтическое дело Пушкина, перековка, переплавка законов и общества с преображением умов и языка.

По Гоголю, творчество Пушкина невозможно, немислимо вне Российской Империи; для него оно было ее органическим следствием: дерево — Империя, плод его — поэзия Пушкина. Говоря иначе, для Гоголя творчество Пушкина символизировало, в плане созерцательном, все силы и возможности Российской Империи, являло собою религиозно-эстетическое оправдание государственных деяний царственного труженика Петра.

Петр Великий родился не служителем искусства, не поэтом, но государственным преобразователем и строителем, и поэтому борьбу с самим собою он проектировал во-вне, пересоздавал себя прямым воздействием на других. Российская Империя зарождалась в усмирении буйных восстаний стрельцов, она выросла наперекор мстительным интригам бояр,

сопротивлению московского духовенства, дремучей лени мужиков. На московское непокорство и кровь царь отвечал первобытною силой. В этой схватке Московия была не чем иным, как объектированной душой Петра. Трудясь над пересозданием Великороссии, он сам пересоздавался, одухотворялся, он действительно реализовал идеи и формы, впоследствии художественно, в плане созерцательном, осуществленные Пушкиным.

Поэзия Пушкина с ее даром проникновения во все человеческое и природное, с ее способностью к перевоплощениям, была прямым следствием имперской удачи Петра.

Не так ли «волею строителя чудотворного», преобразованная Великороссия приобщилась к иным народностям, духовно и телесно вселилась к ним и в них, по видимости утрачивая себя в борьбе, в духовно-биологическом обмене веществ, но в действительности утверждаясь, возвеличиваясь соборно, утверждая и возвеличивая других?

## 2.

Писатель редкого дарования, пронзительного ума и громадной культуры, князь Петр Андреевич Вяземский, на многие годы переживший Пушкина (он родился в 1792-м и умер в 1878-м году), уже на старости лет, вспоминая поэта, своего младшего друга, двумя словами с удивительной точностью определил характер его политических и государственных взглядов, назвав их *либерально-консервативными*. Такое необычное соединение двух, казалось бы, исключających друг друга понятий исчерпывающе определяет государственно-политические воззрения не одного только Пушкина, но всех российских имперцев времен Екатерины Великой, Александра Благословенного и Императора Николая I-го. Ведь и названная Императрица и оба Императора были по своему воспитанию и душевному складу не менее либерально-консервативны, чем Пушкин, или сам автор столь удачного определения. Но, находясь во главе Империи, они не созерцали, а

действовали и потому на протяжении царствований Екатерины и Александра неоднократно менялось на практике ударение в словосочетании князя Вяземского, падая то на первое, то на второе понятие, в зависимости от государственных соображений, от внешних и внутренних обстоятельств.

Царствование Императора Николая I-го, благодаря декабрьскому бунту, питавшемуся наскоро-пересаженными на русскую почву идеями французской революции, было в целом строго консервативным; все либеральное мерилось тогда властями бережно и скудно, допускалось во все области государственной и общественной жизни с зоркой осторожностью. Имперское правительство переходило на защитные позиции под давлением разрушительного революционного радикализма, подменившего собою в слабой голове разночинца, и особенно журналиста-интеллигента, подлинно прогрессивные идеи, проведенные в жизнь Петром Великим и его преемниками на российском престоле. По мысли одного из самых замечательных наших имперцев, гениального Константина Леонтьева, царственная властность Петра была чрезвычайно прогрессивной, а либерализм Екатерины Великой привел Россию к цветению, творчеству и мощному росту, но с декабрьского бунта и его зловредных последствий останавливается у нас процесс сложного цветения, намечается смесительное упрощение, революционное разложение, и поэтому меры охранения — консерватизм Николая I-го, — были благодатными: они удержали, хотя на время, смертоносное упростибельное смешение того, что в прежние годы творчески дифференцировалось историческим прогрессом.

Константин Леонтьев лучше, чем кто бы то ни было, понимал Императора Николая I-го, глубже всех ценил его государственную мудрость и политическую дальновидность. Правда, в этом его, в некоторой степени, опередил Пушкин, крылатые слова которого, пришедшиеся не по вкусу революционным интеллигентам второй половины 19-го века и потому ими затертые, мало кому известны. «В России правительство было всегда впереди народа», сказал Пушкин, слишком очевидно имея в виду не только правительства любимых

им Петра и Екатерины 2-ой, мнение о которой он в зрелом возрасте круто переменял к лучшему, но и правительство Николая I-го. Все же Константин Леонтьев первым сумел определить, в чем именно состояла государственная мудрость этого Императора. Он понял, что борясь одновременно с западниками и славянофилами, Николай I-ый охранял Россию от бездарной, по своим возможностям безмерно кровавой, русской революции и от не менее бездарной, хотя и сдобренной розовой водичкой туземного «православия», беспросветной типично московской реакции. И как часто, должно быть с чисто имперской точки зрения, задавал себе Император вопрос: не смахивает ли наша революция, со всеми своими новейшими западно-европейскими заветами, девизами и лозунгами, на чернейшую реакцию, и не похоже ли болото славянофильской реакции на самодовольную, уже достигшую своих конечных целей, революцию?

Император Николай I-ый был деятельный практик и реалист, что не мешало ему, а, наоборот, помогло ему служить высокой имперской идее, всячески далекой в его представлении от того, что принято называть империализмом, — насильственным рудиментарным нажимом на иные более слабые национальности, проводимым, например, западно-европейскими державами в их колониальной политике. Николай I-ый постигал имперскую идею в ее полноте, в ее ничем не ущемленной сущности. В этом отношении характерен рассказ де Кюстина, как известно, не любившего ни России, ни ее государственного строя, что в данном случае лишь увеличивает ценность его свидетельства.

Однажды, в бытность свою в Петербурге, де Кюстин присутствовал на придворном рауте. К нему подошел Император Николай I-ый и с улыбкой спросил его, показывая на присутствующих: «Вы, вероятнее всего, думаете, что находитесь среди русских, но вы ошибаетесь: вот немец, там поляк, тут армянин, вон грузин, там подальше — татарин, — здесь финляндец, а все это вместе и есть Россия».

Еще характернее, еще типичнее для имперской государ-

ственности Николая I-го его столкновение с Самариным, пытавшимся, будучи чиновником в Остзейском крае, проводить в жизнь славянофильские теории. Самарину вздумалось навязать тамошнему населению коротенькую идейку московского бытового исповедничества. Он думал таким образом руссифицировать край. Слухи о деятельности славянофильского чиновника дошли до Государя. Разгневанный царь вызвал Самарина в Петербург и подверг его жесточайшему разному. Он напомнил ему, что в великой Империи, охраняющей духовную жизнь великой нации, не может быть места самоуправству и что традиции и верования жителей Остзейского края перед лицом закона и права нисколько не хуже московских.

Это-ли не истинная либерально-консервативная политика! Охранять целый край, драгоценную частицу Империи, от наглых покушений непрощенного реформатора и тем позволить населению свободно соблюдать родные обычаи и верования. Так поступали наши Императоры, от Петра Великого до Николая I-го включительно. Они всегда пресекали незаконное с имперской точки зрения, распространение местных укладов жизни, навязывание собственного туземного житья-бытья, будь то младшему или старшему брату по Империи. Самодовольное разбухание племенных претензий рассматривалось российской государственностью, как психическое заболевание, как раковая опухоль, подлежащая суровому лечению. К непоправимому несчастью для России, Николай I-ый был последним Государем, до глубины чувствовавшим и сознававшим великолепие многообразно цветущей жизни, возможной только в Империи. Он, подобно своим предшественникам на российском престоле, знал, что эта жизнь, эта духовная сложность осуществимы только равновесным и дружным сопряжением разноплеменных сил.

Либерально-консервативное направление неизменно содействовало расцвету российской государственности, служило проверкой ее равновесного развития, было ее разумом, сознанием.



— Мечтать в наши дни о восстановлении в России свободы либерально-консервативного строя, это значит желать оживления ее имперского духа, — точнее, это значит стремиться к воскрешению самой России, ибо она и есть высшее и единственное достижение нашего имперского творчества. Она получила свое наименование от Петра Великого для отличия от Руси и построена совсем не русскими, а россиянами. Русь и русские были при этом тем зерном, о котором сказано мудрыми и святыми устами: «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет».

Совершив свой жизненный подвиг, умерев, подобно посеянному зерну, русские ожили в духовном теле Империи, восстали к новой жизни, превратившись в россиян, наравне с другими преображенными народностями, вошедшими в его состав. Русь была телом душевным. Ее взаимоотношение с Россией можно определить вечными словами Апостола Павла: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное».

Но если, действительно, из душевного тела Московской Руси, выросло духовное тело России, то нельзя ли сравнить этот мучительный, трагический рост и конечную метаморфозу с трудным и несомненно болезненным процессом, происходящем в куколке, и появлением из нее в итоге гармонически-разноцветной, радужной бабочки. Причем Московскую Русь понуждали к развитию, как понуждают к нему и куколку, законы и силы, действующие извне, сверху, из атмосферы. А чувствование и той, и другой, их внутренний болезненный рост, одинаково хорошо характеризует двустишие поэта:

Прорезываться начал дух,  
Как зуб из-под припухших десен.

Развивая наше сравнение дальше, можно сказать, что Киевская Русь по отношению к Московской Руси и к России была тем ликующим жизненным началом, каким по отношению к темной куколке и многоцветно изукрашенной бабочке

является гусеница, отливающая на солнце всеми цветами радуги. Воля Петра, царственного хирурга, рассекши непокорный, упорный московский кокон, вызвала к жизни Петербург — окрыленный Киев. И тяжкая трагедия в развитии древней Руси не что иное, как некая высокая норма, встреча и грозное сочетание, извне и изнутри идущих желаний, — искание совершенного духовно-телесного оформления.

Восприняв православие, Киевская Русь просияла в его лучах, но государственный облик этой страны был слишком зыбким, мягким, неустойчивым, чтобы в жестоких земных условиях сохранить полученное величайшее откровение, ни с чем не сравнимый духовный дар. Незрелое, идеалистическое понимание христианства киевскими князьями и разгул по уделам, не усмирённых из центра, первобытных языческих вождельний, открыли пути нашествию татар, вызвали вмешательство извне. Под давлением внешних сил, оберегая высшее религиозное откровение, киевская государственность отступила в Москву. Там, в положении сравнительно более обеспеченном от прямого и немедленного вмешательства чужеродной воли, наша религиозно-национальная идея могла воспользоваться опытом, приобретенным в несчастьях, и, сосредоточившись, уйти в себя, свернуться, централизоваться, окуклиться — выковать государственную броню для защиты своего непрекращающегося внутреннего роста. Этот процесс созревания и дозревания был невыразимо тяжелым. Именно к московскому периоду нашей истории относятся замечательные строки Случевского, в которых, между прочим, Русь преждевременно названа Россией, — ошибка, весьма типичная для русского, хотя бы и гениального, человека второй половины 19-го века:

В те дни из тысячи волокон,  
В жару томительном, в бреду,  
Россия, с жизнью не в ладу,  
Свивала свой громадный кокон.  
Все были закрепощены  
В болезнь слагавшейся страны.

.....  
Что за беда, что на пути  
Мы, тут да там, виновны были.  
Тех стерли, этих своротили,  
Тут не дошли, там перешли...  
Спросите каменный утес,  
Зачем он здесь и там пророс,  
Когда он трещины давал,  
Он глубоко, до недр страдал.

Но свивать свой кокон может лишь тот, кто жизнеспособен. Правда, одна голая жизнеспособность еще не признак в человеке душевных сил, но непоколебимая преданность Московии идее православия и самодержавия, — пусть неверно понимаемых к концу, — показывает, чего ради вырабатывалась железная московская государственность. Поэтому жар и бред и нелады Московии с собою и миром, смуты, кровавую борьбу великокняжеской и царской власти с туземщиной, с бунтующим народом надо рассматривать, как трагическую норму духовного прорастания, как недомогание, сопутствующее воплощению высших идей, болезнь не разлагавшейся, а напротив, как говорит Случевский, слагавшейся страны. Конечно, заболевание и страдание самих по себе любить нельзя, но поскольку они содействуют воплощению на земле божественных идей, их можно и должно принимать и оправдывать.

Болезненное развитие Киевско-Московской Руси в Россию есть непрерывный, в существе своем нерасчленимый, живой душевно-духовно-телесный процесс.

Лишь в годы, непосредственно предшествовавшие воцарению Петра, обозначилась в Московии тяга к разложению и самоистреблению. Виновато в таком пагубном уклоне было, как и всегда, привилегированное, правящее сословие. Оно перестало руководить народом, остановилось, застыло, и низший слой населения приступил к рассасыванию, расхищению накопленных культурных богатств. Созданная жизненною необходимостью, жестокая московская государствен-

ность стала из твердой обращаться в затвердевшую, и, наконец, омертвела в реакционной рутине. Московский государственный кокон из хранителя высшей религиозной идеи превращался в ее гроб. Явление и вмешательство Петра оказались провиденциальными. Он снова привел в движение остановившийся, отказавшийся от прогресса, от духовного роста верхний привилегированный слой. В борьбе с бытовым исповедничеством и расколом он восстановил и утвердил в нарождавшейся России истинное вселенское православие и спас идею самодержавия от племенных посягательств, от простонародной и дворянской черни.

#### 4.

Строитель чудотворный, Петр был проводником божественных предначертаний, оправданием идеи самодержавия по-еврейски понимаемой, власти миропомазанной и потому служебной. Он, как гроза, принес с собой очищение. Недаром он для Пушкина носитель сверхъестественной силы, очистительное вторжение в скудное человеческое существование. Перед Полтавской битвой Петр «свыше вдохновенный» выходит из шатра, как вестник, как проводник небесной воли:

..... Его глаза  
Сияют. Лик его ужасен.  
Движенья быстры. Он прекрасен,  
Он весь, как Божия гроза.

Тут неуместны обычные ссылки на «поэтическую образность» и «красочную фигуральность»: сравнения, метафоры и образы Пушкина, как и всякого подлинного поэта, выражают именно то, что он хотел выразить. Творческое слово существенно, ибо оно прикасается к сущному. Оно онтологично. Вот почему, говоря о причастных к божественной жизни горных вершинах, по которым «проходит незаметно небесных ангелов нога», говоря об альпийской «венценосной

семье», Тютчев, «свыше вдохновенный», называет тем же словом, что и Пушкин, чувство, возникающее в нас при касаниях к мирам иным. Чувство это — ужас. Сияние горной венценосной семьи и лик Царя Петра с сияющими глазами, одинаково разят человека ужасом. И Пушкин, в свою очередь, мог бы, вслед за Тютчевым, назвать это невыносимое для нас ощущение — «льдистым». Вестники вышних велений не согревают бедного человеческого сердца. Властно вторгаясь в наше свитое в долине гнездо, они побуждают нас к духовным свершениям и подвигам, они говорят нам: будьте, как боги!

Идея самодержавной монархии раскрывала перед Пушкиным и Тютчевым свою мистическую сущность, и они в священном ужасе внимали ей.

Но если все сказанное Пушкиным о строителе чудотворном говорилось не для «красочной фигуральности», а для того, чтобы выразить некую духовную правду и если при этом слово не изменило поэту и действительно отразило раскрывшуюся высшую реальность, то судить Петра надобно совершенно особым судом. Тогда все, им сделанное, добро обнаружится перед нами в своей ясной простоте, а его зло покажется всем двуликим и непостижимым. Так самым тяжким грехом Петра признано сыноубийство. Но стоит взглянуть на создателя Российской Империи по-пушкински и признать в нем носителя божественной воли, как попытка объяснить его грех, тотчас встает перед сложнейшей и вряд ли религиозно-разрешимой задачей. Кто знает, казнь собственного сына за бунт и доказанную государственную измену, не действовал ли он в предвидении того рокового дня, когда отрекутся сыны России от тысячелетнего дела своих отцов, умертвят Помазанника — священный прообраз отцовства — и покончат с самим отечеством.

Петр не мог не чувствовать, более того, не мог не сознавать, что величайшее зло, когда-либо искушавшее людей, есть грех отцеубийства, с подменной самозванными личинами духовных истин, дарованных Богом. Он знал, что человек носит в себе темную сущность поправшего отцовства библейского

«героя». Он понимал это бесспорно, несомненно. Ведь все, что виделось Петру в действии, открывалось Пушкину в созерцании и затем, со всею мощью творческой диалектики, до конца разоблачалось Достоевским.

Связь Достоевского с Пушкиным неизмеримо более сложна, крепка и многогранна, чем это обыкновенно думают, ссылаясь на раз и навсегда установившиеся трафаретные суждения. Можно даже утверждать, что из всех наших писателей и поэтов наследником религиозно-художественных идей Пушкина был только один Достоевский.

Между прочими темами Пушкина, перешла по наследству к Достоевскому и тема отцеубийства: из «Скупого рыцаря» выросли «Братья Карамазовы».

## 5.

Творческому человеку часто бывает достаточно отдаленного намека на какое-нибудь явление или переживание, чтобы раскрыть их сущность, восстановить и воплотить их в своем искусстве. Это может быть истолковано только тем, что художник содержит в себе самом все человеческое и природное, светлое и темное, весь мир, всю вселенную. Одно движение, дуновение — и вот найден закон природы, обнаружены темные тайны порока:

Плод яблони со древа упадает:  
Закон небес постигнул человек.  
Так в дикий смысл порока посвящает  
Нас иногда один его намек.

Не упоминая уже о способности, свойственной в полной мере и Пушкину и Достоевскому, находить в себе отзвук на все мировые веяния, оба они потому глубоко постигали грех отцеубийства, что были русскими, и хотя всего лишь в намеке, в зародыше, но лично, на практике, прошли через это зло. Пушкин испытал соблазн отцеубийства в столкновении со своим родителем, и совсем не случайно, по приезде из Одес-

сы в село Михайловское. Это было неизбежным завершением бунтарского, внутренне-революционного периода, так болезненно пережитого поэтом на юге России.

Пушкин дважды письменно засвидетельствовал свою ссору с отцом: в дружеском письме, составленном под непосредственным впечатлением безобразной сцены и, шесть лет спустя, в «Скупом рыцаре», в котором этот случай, изложенный в первый раз пристрастно и с явной целью себя выгородить, творчески разрастается, в скрытом, замаскированном виде, в страшную категорию русской жизни и души самого поэта, ко всему русскому органически причастной.

Ссора происходила наедине, с глазу на глаз. В ее разгаре отец, по словам Пушкина, выбежал в соседнюю комнату и, обращаясь к находившимся там членам семьи, крикнул, без всяких к тому поводов и оснований: «он хотел меня убить!» В письме Пушкин возмущается таким заявлением, в своем сознании совершенно искренно считая его клеветой. Но ведь и сын скупого рыцаря, Альберт, искренно возмущен старым евреем, слишком ясно намекнувшим ему на возможность отравить отца. Он грозит повесить Соломона, хотя только что до того сам ответил сочувственным «amen» на слова этого ростовщика, пожелавшего ему скорейшего получения наследства или, говоря иначе, скорейшей смерти отца.

Скупой рыцарь интуитивно знает, что Альберт желает его смерти. О своем внутреннем знании он сообщает герцогу, повторяя при этом в точности выражение пушкинского отца: «он хотел меня убить». Не имея никаких прямых улик, могущих подтвердить такое обвинение, скупой рыцарь спешит добавить: «Доказывать не стану я, хоть знаю, что точно смерти жаждет он моей». Однако события тотчас же показывают, что обвинение не нуждалось в такой оговорке, ибо когда в ответ на слова сына — «вы лжете!» — отец бросает ему перчатку, сын принимает вызов, и когда, возмущенный таким поступком, герцог вырывает у него перчатку, Альберт обнажает свои тайные вожеления кратким восклицанием: «Жаль!». Впрочем сожаление в свою очередь оказывается излишним: престарелый скупец умирает от волнения на гла-

зах сына, принявшего вызов и тем убившего своего отца. Пушкин-поэт не утаил и не мог утаить того, что Пушкин-человек тщательно скрывал ото всех, даже от собственного сознания.

Отец Достоевского был человек недобрый, крутого и непереносимого нрава. Деспотичный и скупой, он держал уже взрослых сыновей-студентов, как говорится, в черном теле. Вся семья жила в страхе и не знала, как избавиться от мужней и отцовской опеки. Наконец, он был убит своими же крепостными за жестокое и издевательское обращение.

Трудно вообразить себе, что должен был пережить в детстве Достоевский, будучи ребенком крайне впечатлительным и болезненным. Во всяком случае он не только не любил своего отца, но временами прямо ненавидел его и всю жизнь не мог преодолеть в себе враждебного к нему чувства. Начало нервной болезни Достоевского, развившейся впоследствии в настоящую эпилепсию, следует отнести к его ранней молодости. Ор. Миллер, биограф Достоевского, по этому поводу пишет: «Есть еще одно совершенно особое свидетельство о болезни Федора Михайловича, относящее ее к самой ранней его юности и связывающее ее с критическим случаем в их семейной жизни».

Достоевский, нежно любивший мать, всегда избегал говорить об отце с кем бы то ни было. Доктор Яновский, близко знавший Достоевского, пишет в своих воспоминаниях: «Он сообщил мне многое о тяжелой и безотрадной обстановке его детства, хотя благоговейно отзывался всегда о матери, сестрах и брате Михаиле Михайловиче; об отце он решительно не любил говорить и просил о нем не спрашивать».

По-видимому, у Достоевского было еще больше оснований не любить отца, чем у Пушкина или у сына скупого рыцаря. Свое враждебное чувство к отцу он старался всячески скрывать и от других, и от себя, но оно прорывалось наружу в творчестве, обнажая несправедливые изгибы человеческой души, обнаруживая метафизическую, или, что пожалуй точнее, злую метаэмпирическую сущность отцеубийства.

В плане религиозно-художественных идей Достоевский и



Пушкин встречались не раз, — о встречах этих можно было бы написать множество увесистых книг, — но никогда не соприкасались они так близко, не сrostались так крепко, как при творческом погружении, нисхождении в грех отцеубийства. «Скупой рыцарь» — черное зерно, «Братья Карамазовы» — выросшее из него ядовитое дерево, некий русский Анчар, вот неизбывная категория нашей жизни! А тому, что здесь мы имеем дело с категорией вполне реальной, свидетель сам Достоевский.

Для психиатров, человек, подобный Ивану Карамазову, — ненормален, психически болен, и потому, по их убеждению, нет серьезных причин считаться с его мнениями, принимать его бред за что-то в действительности существующее. Напротив того, для пнеуматолога Достоевского болезнь Ивана Карамазова, развиваясь из его непомерной гордыни и самоутвержденности, не только раскрывает перед ним потусторонние злые реальности, но и позволяет ему видеть, как переходит зло из мира потустороннего в мир явлений, и тщетно пытаюсь воплотиться, паразитарно приростает к человеческому сердцу, сияясь погасить в нем последнюю божественную искру. Для Достоевского болезнь Ивана Карамазова не безответственная паталогия, а злодуховная норма, смертным грехом уязвленной души.

Судьи Мити Карамазова, люди биологически уравновешенные, не могут принять во внимание свидетельство Ивана, тем более, что в подтверждение своих показаний он прямо ссылается на привидевшегося ему черта, существо, для образованных спокойных буржуа совершенно мифическое, изобретенное неотесанными мужиками-суеверами. Однако, никакие скептические замечания чрезмерно умных интеллигентов не в силах затмить величие этой сцены. В судебное заседание, руководимое слепыми ко всему духовному людьми, при стечении таких же слепых слушателей, врывается показание человека, собственным злым опытом коснувшегося миров иных. Пророческие слова Ивана, обращенные к соотечественникам, безответно повисают в воздухе, ибо слепцы оказываются вдобавок и глухими, они не понимают, и в

духовной своей глухоте не могут понять, страшного обобщающего значения вопроса, заданного им так открыто и так прямо:

— Кто не желает смерти отца?

— Вы в уме или нет, — вырвалось невольно у председателя.

— То-то и есть, что в уме, и в подлом уме, в таком же, как и вы, как и все эти р-ррожи, — обернулся он вдруг к публике. — Убили отца, а притворяются, что испугались, — проскрежетал он с яростным презрением. — Друг перед другом кривляются. Лгуны! Все желают смерти отца... Не будь отцеубийства — все бы они рассердились и разошлись злые.

Эта сцена невольно и как бы сама собою напрашивается на сопоставление с финалом гоголевского «Ревизора», когда внезапно поднимается завеса перед глазами прозревшего под ударами судьбы городничего и он, как в зеркале, не узнавая, видит себя самого среди своих сослуживцев и соотечественников. Свою неожиданную зрячьсть он принимает вначале за слепоту. Но нет, он видит, и что же он видит?

Убит, убит, совсем убит! Ничего не вижу: вижу какие-то свиные рыла, вместо лиц, а больше ничего!

Если мы задумаемся до конца в такое сопоставление, то услышим, как наяву, одинокий возглас Гоголя, прорезающий слепую и глухую черноту всероссийской ночи: «Соотечественники, страшно!» И больше ничего!

## 6.

Русская революция впервые поставила полностью проблему отцеубийства и если не разрешила ее, что вообще вряд ли возможно, то во всяком случае довела на практике до своего завершения самую идею этого зла. И что же теперь по чести можем мы поведать друг другу? Или нам остается только, смотря в непроглядное будущее, признаваться словами городничего в нашем полном бессилии: «вижу какие-то свиные рыла, вместо лиц, а больше ничего!»

Нет, напрягая внутреннее зрение, мы увидим, наконец, что не обманно, не призрачно дрожит и теплится, тускло мерцая во мраке, душевный огонек, завещанный нам Достоевским. Мы должны подавить в себе гоголевский страх и, следуя за Достоевским, завершить им неоконченное дело, для ума невозможное и лишь верующим сердцем постижимое: мы должны преодолеть гоголевских чудищ, мы должны вернуться к Пушкину. То, что тщетно пытался Достоевский сделать в одиночку, мы можем осуществить сообща, соборно. Чудища и мертвецы, прежде невидимо гнездившиеся в наших душах и лишь Гоголем изобличенные, теперь, после перенесенных нами страданий, отделились от нас, объективировались, обрели для себя некое подобие самостоятельного существования. Эти оборотни наяву овладели нашей родиной и тем наглядно показали, насколько прав был Достоевский, утверждая, что земная действительность фантастичнее всякой фантастики.

Святая задача эмиграции, зарубежной и внутренней (есть и такая) разобраться в минувшем, отделить в нем пшеницу от плевел, отыскать неведомые посевы, предназначенные для будущего, хоть и не возвращенные, но все еще живые. Пора нам понять после подпольных и чердачных персонажей Достоевского, что подвалы и скворешники, клетушки, кабинки, каюты и каморки, столь похожие на гроба, на мучительные прообразы смерти, неизменно скрывают в себе до времени грозные и великие возможности сияния и тьмы, греха и подвига. После Раскольникова и Криллова, после их страшных опытов, созревавших на нищенских вышках и в скудных комнатухах, после подпольных замыслов Петра Верховенского, словом, после всех этих темных мечтаний и дерзаний, сразу в двух встречных направлениях, извне и изнутри взорвавших мир, расщепивших атом, нам ли бояться духовной заброшенности и внешнего убожества жизни?! Нельзя забывать, что судьба оказала нам двойную, — трагическую и комическую услугу, расселив нас по углам и чуланам, в которых еще так недавно она выдерживала до срока социалистических уродов, патлатых и лохматых завистников, накопивших неистовую

злобу и сокрушивших таки, наконец, величайшую в свете империи. Запомним урок: на задворках жизни, в ее забытых закоулках обретается опыт, вырастают силы, меняющие судьбы мира. И если все эти Троцкие, Ленины, Бела-Куны и Сталины, эти полусущества, порожденные болотными испарениями, эти выходцы из гробов, столь похожие на упырей, на изъятых из клинических банок заспиртованных недоносков, могли своей накопленной злобой изувечить весь мир, то ведь и мы, нынешние обитатели этих самых коморок, кое-что накопили за долгие году тоски по утраченному отечеству. Многие из нас, посланных на бесплатное обучение в Европу и Америку, научились ценить потерянный рай, научились разбираться в остатках былого, сквозь дым и гарь большевистских кровавых деяний, сквозь ядовитый туман демократической слизи и хляби. Испупительным страданием, таинством печали, мы освятили и обессмертили великое российское прошлое.

Мировая история заранее, за долгие годы предрешила, сделала неизбежным появление и торжественное шествие по земле всевозможных и бессчетных чудищ от революции. Они спускались с пыльных чердаков, вылезали из затхлых подполий, покидали свои мертвые пристанища, свои тайные домовины и, заражая смрадной пропагандой города и веси, отравляя, околдовывая души, ввергли их в беснование, чтобы вслед за тем вылущить из них все живое и навсегда погрузить в мертвенное оцепенение. Но не забудем, что чудища и оборотни действовали *коллективно*, как и полагается служителям социализма, этим механически-сцепленным между собою автоматам. Мы же, российские изгнанники, объединенные живым страданием, мы, изгнанные правды ради, будем подвизаться *соборно* и не во имя презренной, слишком человеческой, справедливости, не во имя лицемерного гуманизма, а во имя любви и веры и Христовой победы. Воскресный день настанет. Он близок. Вплотную подходит время решений и ответов. По новому напрягается слух и зрение и в порывах осеннего ветра, в его острой, холодной струе чуется бедному

изгнаннику страшная, но желанная близость небывалого, невозможного, поистине пасхального торжества.

Пусть же растет и зреет в нас благословенная воля к воскресению минувшего. В грозную годину мировых потрясений все мы должны из последней душевной глубины воззвать к российскому прошлому, изострить нашу память, вспомнить былую жизнь на родине до самой малой, некогда виденной нами соломинки, до последней черты. И совершится небывалое — прильнет бесноватая страна к ногам Спасителя, расступится океан неповинной крови и выйдет из него обновленный в страданиях, навсегда нерушимый Китеж.

Скуем же в себе духовную скрепу, памятуя вещие слова поэта:

Счастлив, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые.

## 7.

Грядущее возникает из незабвенного минувшего. Если нет памяти о прошлом, не осуществится и будущее, и все превратится в хаос, рухнет в извечную, довременную, безликую и безразличную стихию. Человеческая память движется и творит. И самое драгоценное в ней это неизсякаемая воля к идеализации прошлого. В отличие от ожидаемых в будущем и воображаемых в настоящем идиллий, неизменно плоских и мертвых, идеализация минувшего служит залогом нашего собственного бессмертия. Идеализируя прошлое, память совершает отбор, очищает все бывшее, доподлинно героическое, от временного и обветашалого. Так, воскрешая предков, мы, «не помня зла, воздаем им за благо» и оправдываем тем самым неистребимо живущую в нас надежду на собственное бессмертие. Идеализируя прошлое, мы любовно сливаемся с ним и как бы присваиваем его себе.

Духовные усилия поколений, переживших революцию, должны быть направлены к восстановлению оборванных традиций, к кропотливому благоговейному изучению великого

прошлого. Страшное, во веки веков непоправимое злодеяние, называемое революцией, в зародыше своем было ведомо Библии. Кровавое осуществление в мире темных революционных страстей предрешилось в тот самый день, когда Хам надругался над Ноем и тем в сердце своем совершил отцеубийство. Грех революции — грех безликого коллективного хамства. Вот почему, пусть только частично, он может быть искуплен нашим общим, соборным стремлением воскресить минувшее, творчески ему подражая. Идеализируя предков, мы воссоздаем их первородный лик, данный им Богом при сотворении, и таким образом, как истые художники, подражаем уже не падшей природе, а самому Творцу. Человеческая память динамична: воссоздавая бывалое, она побуждает нас стремиться к небывалому; иными словами, она каждый миг призывает нас созидать настоящее и стремиться к будущему, опираясь на прошлое.

Давно уже сказано устами великого поэта: «Жизнь для волнения дана; жизнь и волнение — одно». Революция противоречит всему живому, она провал, остановка, забвение и небытие. Волнение, по видимости сопутствующее революции, обманчиво; оно присуще не ей и не преданным ей палачам, а загнанным жертвам, еще сохраняющим в себе перед смертью погасающую искру жизни. Настоящий революционер лишь симулирует волнение, актерствует, театральничает, на самом же деле он невозмутим, холоден и рассудителен, он размеренно исполняет свой, чуждый живым людям, гробный ритуал, поклоняясь и принося кровавые жертвы своему идолу. Душа революционера подобна допотопной окаменелости, и даже в его митинговой мимике в движениях есть мертвенная автоматичность.

Неукоснительная революционная механика впервые приводится в движение не палачами, а преступными писаниями кабинетных заговорщиков. Для того, чтобы выпустить из тюрем и сформировать полчища революционных убийц, нужна предварительная печатная пропаганда, долгая и сознательная работа над искажением всех понятий, жизненно создававшихся веками. Не сразу же и не по щучьему велению

стали называть люди черное белым, племя нацией и Робеспьера святым апостолом.

Истинная живая жизнь развивается трагично, ибо только в трагедии есть доподленное волнение и движение. Противоречия жизни, революция отвергает трагедию и потому прежде всего покушается на религию, на Голгофскую Жертву, завещавшую нам жить в огненном горении и принимать, наравне с радостью, страдания, нищету и муку, как путь, ведущий к абсолютному бытию. Вопреки революционной надписи над Иверской часовней, не упование на Бога, а революция — опиум для народа. Именно она принципиально погружает людей в застой и оцепенение. Отрицая жизнь, одурманивая человечество, она бросает лозунг: «одним хлебом будет жив человек». Но великий, благословенный парадокс жизни к счастью показывает обратное, и Призывавший нас к Царству Небесному пятью хлебами насытил толпу, а революция неспособна дать человеку даже сухой корки, оттого, что наш хлеб насущный дается нам свыше и отрицающий божественный источник питания лишается пищи.

## 8.

Если человек, желающий жить, бежит от хаоса в поисках государственного порядка и относится с отвращением к революции и ее деятелям, по духу своему внесловным интеллигентам, разночинцам и мещанам, то это вовсе не значит, что он любит так называемую правую реакцию и ее деятелей. Правда правые все же немного лучше левых, поскольку в общезитии беспросветная животность приемлесте насильственно осуществляемых злых и завистливых человеческих домыслов. Но все же из зоологии сносного государства не выкроишь и под ее началом не займешься плодотворно честным ремеслом. Духовную сущность имперского строя правые подменяют животной органичностью, искренно полагая, что для успешного управления государством, достаточно обладать инстинктами сторожевого пса, пасущего стадо овец.

Ссылки правых на их преданность церкви не убедительны: разложение Московии и закат Российской Империи, ясно обозначившийся к концу царствования Александра II-го показали нам, как умеет правая реакция приноровлять к собственному житью-бытью величайшее религиозное откровение, обращать в бытовое исповедничество даже вселенское православие. Правые и левые одинаково подтачивают религиозную сущность человека, одни своею зоологичностью, другие своею неорганичностью, дурной абстрактностью, мертвой теоретичностью. Захватив власть, правые силятся обратить людей в животных, левые — в одержимых или же в безразличных ко всякой идее автоматов западно-европейского и северо-американского образца. Правая реакция пытается остановить волнение и движение бытия и подменить их неподвижностью и обманчивым покоем быта, а революционный прогресс, симулируя тревогу и стремление, кратчайшей дорогой ведет к небытию. Правые обожествляют бескрылые обычаи и принципы, левые же, быть может, сами того не зная, поклоняются нулю, свершают свой социалистический ритуал во славу ничтожества.

Большим заблуждением было бы думать, что творческая имперская идея находится в «золотой середине», между правым и левым. Нет, она инородна, инопланна им и обретается высоко над ними. Дальновидная мудрость московских князей и царей и российских императоров до Николая I-го включительно именно в том и состояла, чтобы бороться с правой и левой «общественностью», властным вмешательством пресекая ее двустороннее патологическое разрастание. Это, взятое нами в кавычки, будничное, серое слово особенно привилось и вошло в моду в нигилистические шестидесятые годы и уже тогда ничего путного не предвещало. Но российское имперское правительство потому и шло, как заметил Пушкин, впереди народа, что до поры до времени искусно пользовалось для созидательных целей смертоносными микробами правой и левой «общественности». Оно, как врач, дозировало яды и тем сохраняло равновесие государственного организма. Но имперские консервативность и прогрессивность



не имеют ничего общего с правой реакцией и левым прогрессом, и прежде всего потому, что идут они сверху и осуществляются властью богопомазанной, тогда как все правые и левые, возникая в народной толще, в племенной утробе, способны только к застою и погрому. Российская государственность, с первых дней своего зарождения, основалась у горных церковных, ничем не замутненных истоков. Малейшее искажение вселенского православия всегда грозило ей падением и гибельными уклонами или вправо — в бытовое исповедничество, в первобытно-языческий фетишизм, или влево — в атеизм и прямое богоборчество. Русская и российская государственность держалась не на юридиках, не на законах и праве, а исключительно на религии. Потому стоило хотя немного замутить истоки православия, чтобы тотчас же, все полетело в пропасть. В прежние годы это лучше всех сознавал Константин Леонтьев, за сорок лет до революции видевший ее неизбежность и различавший все ее поистине проклятые фазы. Но лучше приведем полностью его пророческие слова:

«Либерализм, простертый еще немного дальше, довел бы нас до взрыва, и так называемая конституция была бы самым верным средством для произведения насильственного социалистического переворота, для возбуждения бедного класса населения против богатых, против земледельцев, банкиров и купцов, для новой ужасной пугачевщины. Нужно удивляться только, как это могли некоторые, даже и благонамеренные, люди желать ограничения царской власти, в надежде на лучшее умиротворение России. Русский простолюдин сдерживается гораздо более своим духовным чувством к особе богопомазанного Государя и давней привычкой повиноваться его слугам, чем каким-нибудь естественным свойствам и вовсе не воспитанным в нем историей уважением к отвлеченностям закона. Если бы монархическая власть утратила бы свое безусловное значение, и народ понял, что теперь уже правит им не сам Государь, а какими-то неизвестными путями избранные и для него ничего не значущие депутаты, то, может быть, скорее простолюдина всякой другой

национальности, русский рабочий человек дошел бы до мысли о том, что нет больше никаких поводов повиноваться. Теперь он плачет об убитом Государе (Александре II-м) в церквях и находит свои слезы душеспасительными, а тогда о депутатах он не только плакать бы не стал, но потребовал бы для себя как можно больше земли и вообще собственности и как можно меньше податей. За свободу же печати и парламентских прений он не станет драться.

Народ наш понимает и любит власть больше, чем закон. Хороший «генерал» ему понятнее и даже приятнее хорошего параграфа устава. Конституция, ослабивши русскую власть, не успела бы в то же время внушить народу английскую любовь к законности. И народ наш прав! Только одна могучая монархическая власть, ничем, кроме собственной совести, не стесненная, освященная свыше религией, облагословенная церковью, только такая власть может найти практический выход из неразрешимой, по-видимому, современной задачи примирения капитала и труда».

Никто из современников Константина Леонтьева не видел с такой навязчивой, беспощадной ясностью, как он, грядущей русской революции во всех ее проявлениях и деталях. Незадолго до своей смерти, последовавшей в 1891 году, он пишет: «Церкви и монастыри еще не сейчас закроют: лет двадцать, я думаю, еще позволено будет законами русским помолиться». И добавляет к этому страшное пророчество, в наши дни, по-видимости, столь близкое к осуществлению: «Русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по смертоносному пути всесмешения и — кто знает — подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет Учитель Новой веры, — и мы неожиданно из наших государственных недр, сперва бессловных, а потом бесцерковных, родим антихриста».

Константин Леонтьев жил и развивался при трех императорах, или вернее, при Императоре Николае I-м и Царях Александре Втором и Александре Третьем. Возмужания, умственного и творческого расцвета Леонтьев достиг в годы царствования Александра Второго, среди духовно-чуждых

ему людей. С содроганием и отвращением наблюдал он на практике, как подготовляла революцию русская левая и в особенности правая «общественность».

Снижение имперской идеи в умах и сердцах людей, призванных править Россией, началось вскоре же после смерти Николая Первого. Возможность такого снижения подготовлялась давно в барских и разночинских кругах, славянофилами, либералами и нигилистами одинаково. Правительство Николая Первого совершенно сознательно, во имя имперской идеи, сдерживало натиск этих реакционно-революционных сил и, искусно пользуясь враждою разных народнических группировок, ослабляло, как могло, их зловерное влияние.

Реформы при Александре Втором, сами по себе необходимые и государственно-разумные, проводились наспех и не так, как того требовала крайне сложная российская действительность. К тому времени наши народные герои, вековые, неистребимые Стеньки Разины и Пугачевы, успели непомерно расплодиться и, наскоро натянув на себя европейские пиджаки и сюртуки, при поддержке жаждущих самоистребления, распущенных московских бар, напирали снизу, угрожая прорвать и без того тонкий слой культуры, сияясь растоптать духовное достояние нации.

В иных условиях, при иных соотношениях, снова началось старо-московское разложение, на этот раз несравнимо более опасное, питавшееся идеями французской революции, приведенными вдобавок в нелепую азиатскую систему.

Идеи французского просветительства, впервые приложенные к жизни во Франции, сразу же обнаружили свою абсолютно злую, ненасытно-кровавую сущность. Временно приглушенные Наполеоном у себя на родине, они разносились им по всей Европе. Обещаниями призрачных свобод он надеялся утвердить повсюду свое владычество; посулами несбыточных равенства и братства он полагал смягчить недовольство побежденных, стонавших под непосильной тяжестью военных контрибуций.

Соблазнительные идеи французской революции, приве-

зенные, после победы над Наполеоном, в Россию возвратившимися из Парижа русскими дворянскими недорослями, наткнулись на непреклонную волю Александра Первого и вынуждены были на первых порах уйти в подполье. Провалившийся декабрьский бунт и неудачный заговор петрашевцев показали бунтовщикам, что еще рано вылезать наружу, что Император Николай Первый шутить нисколько не намерен. Благоприятные условия для развития печатной и устной революционной пропаганды создались только при Александре Втором. Предпринятые государственные реформы, к сожалению, не столько раскрепостили тогда крестьян, ставших рабами общины, сколько разнуздали притаившихся революционных неудачников из разночинцев, сбившихся с пути семинаристов, по примеру своего старшего собрата, Белинского, уверовавших, пуще чем в Господа Бога, в науку и социализм. Согласно свидетельству беспристрастных современников, все эти передовые водители умов — Зайцевы, Добролюбовы и Чернышевские, очевидно из презрения ко всякой оформленности, к языковой ясности и точности, не говорили, а гавкали, и в ответ на вопросы цедили сквозь зубы какую-то мутную нигилистическую дрянь.

Такой совершенно новый, передовой способ изъяснения, — говорит Николай Щербина, — имел большой успех у бессловной черни, невероятно обнаглевшей в знаменитые шестидесятые годы:

Когда был в моде трубочист,  
А генералы гнули выю,  
Когда стремился гимназист  
Преобразовывать Россию.

Сам Щербина, человек острый и умный, одобряя в принципе правительственные реформы, нисколько не разделял восторгов «освободительного движения» и откровенно признавался в стихах:

В те дни в бездействии влачил  
Я жизни незаметной бремя  
И счастлив, что незнаем был  
В сие комическое время.

Однако, как мы хорошо знаем, «сие время», по отдаленным своим последствиям, оказалось совсем не комическим: оно предвляло наше ныне свершившееся, окончательное «освобождение». От чего? Да от всего понемножку, в том числе и от чести, утраченной нами в феврале 1917 года.